

Н-125-П.

РК-13

104665

БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА

НА ПЕРЕДОВЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
ИЗ ЖИЗНИ И БЫТА
СТУДЕНЧЕСТВА
НАШИХ ДНЕЙ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„СТУДЕНТ РЕВОЛЮЦИИ“
ХАРЬКОВ - 1923

V.N. Karazin Kharkiv National University



00669558

9

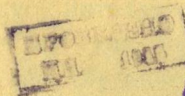
-126-17.

БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА

НА ПЕРЕЛОМЕ

РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ ИЗ ЖИЗНИ И
БЫТА СТУДЕНЧЕСТВА НАШИХ ДНЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧОВА
БИБЛИОТЕКА ХД.У.
Изм. № 104665

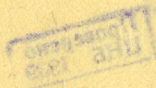


Кооперативное Издательство
„СТУДЕНТ РЕВОЛЮЦИИ“
Харьков. 1923 г.

РУП № 1054 1/VIII.

Ек-слав, 1-я тип. Губхозкол. и газ. „Звезда“, № 2022—5000 экз.

1923



От издательства.

Чтобы ясно представить себе всю своеобразность жизни и быта нового студенчества, необходимо не только быть знакомым с его жизнью, но также сравнить ее с жизнью студенчества до-революционного.

В шестидесятые—семидесятые годы студенчество было почти главной революционной силой. Типы тогдашнего студенчества зафиксированы, как в периодической печати, так и классической литературой. Но по мере развития в России классовой борьбы, студенчество все больше и больше отходит от революционных идей. 1905—6-й года особенно ярко подчеркнули это. В это время классовые интересы рабочих и крестьян особенно резко выявились. Требования передачи в руки производителей средств производства пришлось не по вкусу интеллигенции того времени, а, следовательно, и студенчеству, как части последней. С этого времени начинается отход студенчества от всего революционного и группирование его вокруг мелко-буржуазных и буржуазных идей и партий.

Октябрьская революция достаточно ярко показала это. В дружном хоре голосов, приветствовавших ее, не было слышно голоса студенчества. Оно отошло от нее не только пассивно, но стало бороться, как выразитель и последователь контр-революции.

Социальная революция, широко обнажившая все язвы страны, не могла оставить высшую школу и студенчество в том положении, в каком они находились. Коренной переворот всего социально-экономического строя неизбежно должен был повлечь за собой и коренную реорганизацию высшей школы. Идя по этому пути, нужно было, прежде всего, обновить, опролетаризировать состав учащихся высшей школы. Революция это сделала.

Если учащийся высшей школы в до-революционное время являл собою (в большинстве случаев) полу-интеллигента, гнавшегося за получением диплома,—то новый студент является совершенно другим: это—строитель будущей жизни, борец пролетариата.

Как жило старое студенчество?

Мы не будем говорить здесь о той части студенчества, которая, происходя из небогатых семей, своим бытом в очень многом походило на новое студенчество; их было мало. Остановимся на другой части студенчества, на студенчестве „богемы“, (в худшем понимании этого слова).

Быт этого студенчества ярко характеризует студенческая песнь того времени (ее, к сожалению, можно услышать и сейчас).

„Умрешь—похоронят, как не жил на свете.

Сгниешь—и не встанешь к веселью друзей.

Налей, налей товарищ!“ и т. д.

Вот яркая черта, обрисовывающая пессимизм, никчемность, желание насладиться жизнью во всех ее самых грубых проявлениях,—рисующая старое студенчество „богемы“. Оно не знало к чему идти,—„бог знает, что с нами будет впереди“; его страшила смерть; оно не задумывалось над всем ужасом своего прозябания, проходившего между „официальным числиньем студентом“ и повседневным пьянством и оргиями.

Общественные интересы в этом студенчестве проявлялись в формах „академической принадлежности“. Имея в кармане студенческий билет, а за бортом сюртука значок „Союза Русского народа“, это студенчество „определяло общественное мнение“ (мы говорим о студенчестве 1906—16 годов).

Революция вытряхивает из стен высшей школы все пережитки старого студенчества; она создала новую формацию студенчества—пролетарское студенчество. Последнее, уже за воевало два первых курса высших школ. На старших курсах еще осталась часть старого студенчества, если не вполне сохранившего старые пережитки, то в значительной мере придерживающегося их. Таким образом, высшая школа настоящего времени представляет собою, с одной стороны, ярко выраженную пролетарскую аудиторию, с другой—„лояльную советской власти“. Но новое студенчество все больше и больше завоевывает высшую школу, устанавливая там свои—пролетарские порядки. Еще три—четыре года—и высшая школа станет вполне пролетарской! Сейчас—мы на переломе!

Выпускаемый нами сборник является первой попыткой дать всему окружающему высшую школу миру понятие о быте современного студенчества. Здесь читатель найдет и типы рабфаковцев, и типы коммунистов—студентов; здесь он познакомится с бытом бедника—студента, радующегося возможности поселиться в комнате, где, „обитала раньше хозяйкина свинья“; здесь читатель найдет зарисовку быта оставшегося в стенах высшей школы старого студенчества.

Мы не сомневаемся, что в сборнике будут недочеты, но полагаем, что они нам простятся, так как сборник является первой попыткой охарактеризовать студенчество современной высшей школы.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
IN TWO VOLUMES
BY NATHANIEL BENTLEY
OF THE BARRISTER AT LAW
IN GREAT BRITAIN
AND OF THE COUNSELLOR AT LAW
IN MASSACHUSETTS
PUBLISHED BY
JOHN BENTLEY
AT THE SIGN OF THE BRASS ARCADE
IN THE CITY OF BOSTON
1787

Як. Окунев.

Новое студенчество.

I.



Октябрьская революция в высших учебных заведениях далеко еще не завершена. Старое буржуазное и мелко-буржуазное студенчество составляет пока еще значительную толщу, прослойку в университетах. Но не в этом только дело, а дело в другом явлении—„идеологического“ порядка, в „настроениях“ части студенчества, которую нельзя назвать антисоветской, но и трудно считать советской.

В темные времена самодержавной реакции „Alma Mater“ была или, по крайней мере, считалась цитаделью всяческой крамолы. „Приличному“ студенту полагалось быть если не красным, то густо-розовым. Студент в обывательском представлении был синонимом бунтовщика, крамольника, ниспровергателя. Студенческие волнения, нередко возникавшие на почве академических требований, сливались с революционным движением, и лозунгами студенческих „беспорядков“ были общеполитические, а зачастую и социалистические требования.

Будущий „абитуриент“ чуть ли не с пятого класса среднего учебного заведения политически „подтягивался“. Политический абсентеизм и невежество считались дурным тоном среди учащейся молодежи, и юношество, готовившееся вступить в „святая святых“—в университеты, усиленно штудировало полулегальную, оппозиционно-легальную и нелегальную

литературу, группировалось еще в гимназиях в кружки, чаще всего не имевшие связей с какой-либо из революционных партий, но определенно тяготевшие к ним, вырабатывавшие революционное самосознание и мировоззрение и самоопределявшиеся в смысле будущих партийных симпатий.

„Академизм“ среди студенчества в своем чистом, выкристаллизовавшемся виде, появился после 1905 года. „Белоподкладочники“ не представляли собой сплоченной группы и совершенно не были политическим явлением. Это были единицы, „белые вороны“, равнодушные к политической жизни студенчества, карьеристы в самом определенном смысле этого слова. Но после революции 1905 года реакция пытается овладеть студенческим движением и проникает в высшие учебные заведения под видом „академизма“. Академизм в мрачную эпоху Кассо и Шварца выражал определенное политическое исповедание. Под лозунгом тяготения к науке и устранения из университетов политики ради науки—скрывался лозунг борьбы с революционной политической мыслью и внедрения черносотенства и монархизма в университеты. Академизм, таким образом, был насквозь пропитан политикой, которой он, на словах, об'являл войну во имя „чистой“ науки, черносотенной политикой союза русского народа. Белоподкладочники, равнодушные до 1905 года к политике, представлявшие болото в политическом отношении, после пятого года составляли ядро академизма в университетах.

Академизму и белоподкладочничеству, казалось бы, не может быть места в современных общих условиях и, в частности, в условиях университетской жизни, вовлеченной в бурный поток революции. Так казалось бы, но на самом деле—„Курилка жив“. Среди современного студенчества, ярче всего—столичного, эта струя академизма довольно заметна. На первый поверхностный взгляд в этом новом академизме

как будто и нет примеси политических устремлений. Студенты-академисты, которые встречаются не только в „настоящих“ университетах, но и в университетах коммунистических (в Свердловском, например) и, выражают свои академические тяготения в самой невинной форме:

— Мы пришли в университет учиться. Государству нужны культурные силы, нужны врачи, инженеры, учителя. Мы не хотим и не имеем права отвлекать себя политикой от учебы.

Чаще всего этот академизм рядится в одежды революционной фразеологии, и в этом своем виде выражается, примерно, так:

— Тов. Ленин сказал, что нам нужна учеба. Укрепление Советской власти требует, чтобы мы учились. Мы будем революционными, красными спецами, и поэтому нам нужно учиться, не отвлекаясь в сторону политики.

Конечно, среди „академистов“ есть и люди искренние, без всякой задней мысли увлекающиеся учебой и временно, может быть, скрепя сердце, уходящие от „политики“ к науке. Конечно, эти „академисты“, у которых нет камня за пазухой, заблуждаются на счет аполитичности самой учебы и науки, которой они отдаются, потому что красный спец именно потому и красен, что он не только спец в своей области, но и политически активный и политически зрелый человек: он спец в области своей специальности и спец в области „красноты“, т. е. знает, как применить свои знания для торжества пролетарской революции.

Однако, заблуждающиеся насчет природы „академизма“ не составляют еще большой беды. Раньше или позже они окажутся не в состоянии устоять на „академической“ позиции и отойдут от нее. Но большая часть „академически“ настроенного студенчества—это либо чистейшей воды шкурники и

карьеристы, которым нет дела ни до чего, кроме вожделений о теплом местечке, либо люди с камнем за пазухой, скрывающие за „академической“ невинностью свой контр-революционный лик. В подавляющем большинстве „академисты“ выходцы из интеллигентного мещанства, дети врачей, юристов, профессоров, инженеров, из среды той старой „доброй“ интеллигенции, которая сохранила поныне свои оппозиционные „традиции“, которая в до-революционное время делала „революцию“ брызжанием против реакции, а теперь, отчасти в силу инерции и больше в силу своих кастовых интересов, помогает контр-революции тем же брызжанием, нашептыванием, охаиванием Советской власти.

Вкрапленные в среду нового студенчества, академисты сохраняют „традиции“ своих отцов и, стоя на словах от политики, на деле выражают довольно определенно политическую линию скрытого меньшевизма, эсеровщины или кадетизма.

II.

Засилие непролетарского студенчества, составляющего ядро Карфагена „академизма“, объясняется тем, что в годы революции и гражданской войны еще не подросли ряды пролетарской учащейся молодежи, еще не прошли эти ряды среднюю школу, преддверие к высшим учебным заведениям. Пролетарский „молодняк“ еще обретался в 1-ой ступени советской школы, тогда как II-ая ступень была заполнена старым контингентом гимназистов, детей интеллигентного мещанства и буржуазии. Поэтому первые учебные годы после Октябрьской революции давали университетам студенчество старого типа, со старыми студенческими „традициями“, которые во время реакции имели революционный налет, а после Октября пропахлись контр-революционным душком.

Карфаген „традиционного“ буржуазного студенчества должен был быть разрушен. Университетский февраль затянулся слишком долго, и его пора было сменить Октябрем. Окончилась гражданская война. Демобилизованная пролетарская и крестьянская молодежь кинулась в университеты с такой же „дерзостью“, с какой в период гражданской войны атаковала белогвардейские твердыни:

— Даешь науку!

Как ни плоха наша трудовая школа, но и она, несмотря на саботаж со стороны части школьных работников, несмотря на общую разруху и невероятно тяжелые, бивуачные условия школьной работы, подготовила к концу гражданской войны свежие пролетарско-крестьянские кадры „абитуриентов“. Целая армия юношества „поперла“ в университеты. Тяга в высшие учебные заведения со стороны трудящегося юношества превысила реальные возможности со стороны государства вместить в аудитории всех чающих знания, тем более, что Наркомпрос в этом году, в силу недостатка средств и научных сил, свернул сеть учебных заведений.

И если прежде Карфаген буржуазного засилья в университетах надо было разрушить, то теперь создались условия, при которых его можно было разрушить: на лицо оказался новый, свежий, пролетарский материал для высших учебных заведений. На одно место в университете устремились десятки. Создались условия конкуренции, конкурса за университетские места. И ясно, что вопрос об Октябре в университетах, о смене буржуазного студенчества, серого по своей внешней политической окраске и черного по сути, красным пролетарским студенчеством—встал во весь рост.

Если в пору самодержавной реакции почти каждый студент считал своей нравственной обязанностью быть политически грамотным, то во время пролетарской диктатуры рабочее

государство имеет право требовать от каждого студента политической грамотности. Кроме того, такое требование является и революционным критерием по отношению к поступающему в университеты студенчеству, т. е. определяет, насколько данный студент вовлечен в Советские и революционные интересы и насколько он проявляет к ним равнодушие. Интересовался ли он хотя бы в малой степени тем, что происходило вокруг него, теми событиями, в огне которых выросло все молодое поколение, или его „хата“ была „скраю“.

Ясно, что этот критерий, принятый в этом году при приеме в ВУЗ'ы, давал возможность, во-первых, разгрузить университеты от буржуазного элемента, а во-вторых, содействовал пролетаризированию университетов. И то, что метод политического коллоквиума был в этом отношении правильным курсом на пролетаризацию университетов, доказывается тем, что в этом учебном году первые курсы ВУЗ'ов переполнены пролетарским студенчеством, и что буржуазного засилия больше нет.

III.

Автор этой статьи был этой осенью командирован в Московский государственный университет (I-й) в качестве члена испытательной комиссии по „политике“ и литературе. Благодаря этому обстоятельству, автор пишет статью о новом студенчестве по „горячим следам“ собственных наблюдений, и здесь уместно привести ряд характернейших живых штрихов, рисующих физиономию нового и старого студенчества устремившегося в ВУЗ'ы.

Только лишенные слуха и зрения, живя в России, могли не видеть и не слышать тех мировых по своему значению событий, которые прошли огненным выхрем по стране с Октября 1917 г. Молодое поколение выросло в отражениях революционных вспышек, и поэтому трудно представить себе,

чтобы юношество—к какому бы слою оно ни принадлежало—не знало решительно ничего о том, что такое Октябрьская революция и в чем выразились ее достижения.

Между тем, несмотря на крайне ничтожные требования, пред'явленные поступавшему студенчеству по „политике“, на коллоквиуме обнаружилось поразительное немогузнайство, переходившее нередко в область анекдота. При этом политическое невежество проявляли, главным образом, чистоплюи, царские, буржуазные и—увы!—интеллигентские сынки.

Предомною типичный „чистоплюй“, выхоленный, накрахмаленный юноша с так называемой „интеллигентной“ внешностью: пенснэ, тонкие комнатные черты лица, знающее выражение глаз.

— Что такое политика?—задаю я ему азбучный вопрос.

Он не задумываясь, выбрасывает скороговоркой:

— Политика—это законодательство.

— Стало-быть, по Вашему, политикой никто, кроме законодателей, не занимается?

— Нет, я так не думаю. Я полагаю, что нарушение законов есть тоже политика.

Видя, что „чистоплюй“, запутался в определении политики, я пытаюсь ему задать вопрос „от жизни“.

— Не знаете ли Вы, какой орган власти стоит во главе Советской Республики.

— Как же, знаю!—с уверенной усмешкой отвечает он—Во главе Советской Республики стоит ВСНХ.

— Высший Совет Народного Хозяйства?!

— Ну-да, он Высший...

„Чистоплюя“ сменяет пахучая дама лет 25, со слезинками бриллиантов в серьгах. Она из числа „восстанавливающих в правах“, т. е. бывшая студентка, прервавшая учение и снова поступающая в университет.

— Чем Вы занимались в годы революции?
— Я—жена врача. Лично ничем не занималась.
— Вы знакомы с минимумом наших требований?
— Как же, как же! Кроме того, я знакома со многими видными коммунистами. У нас запросто бывают товарищи Икс, Зет и Игрек.

Она называет несколько видных имен.

— Какое это отношение имеет к коллоквиуму?
— Я хотела этим сказать, что я в курсе дела.
— Ага! Если Вы „в курсе“, то скажите, с какой целью собиралась Генуэзская конференция.

Несколько мгновений дама почему-то шарит глазами по сторонам и неслышно шепчет что-то, потом произносит,

— На Генуэзской конференции собралась с.-д. партия и раскололась на меньшевиков и большевиков.

— Позвольте, Вы знаете, когда была Генуэзская конференция?

Опять шарят глаза по сторонам, опять шевелятся губы в неслышном шепоте:

— В 70-х годах.

Вся в черном, скромно одетая, гладко причесанная, примазанная девушка. Тип народной учительницы. И, действительно, она оказывается школьной работницей.

— Давно преподаете?

— Пятый год.

— Историю знаете?

Самодовольная усмешка тонких губ. Быстрый взгляд на меня сверху вниз: уж, дескать, знаю во всяком случае больше, чем „товарищи“.

— Значит, знаете. Скажите, кто убил Александра II?

— Декабристы,—с уверенной медлительностью процеживает учительница.

— Но ведь декабристы были в 1825 году, а Александр убит в 1881 году. Как же это вышло?

— Это не те декабристы, а их последователи,—не смущается учительница.

Молодой человек с лицом, напоминающим жирный блин, не дожидаясь моего вопроса, заявляет с разгона:

— Я—крестьянин. При рабоче-крестьянской власти... Я полагаю, что Вы меня резать не станете?

— Нет, „резать“ я Вас не стану, а вот скажите мне, если Вы крестьянин, сдавали ли Вы в этом году продразверстку?

„Крестьянин“ сразу попадает на „мушку“ и валяется:

— Как же, как же! Всю продразверстку сдали. Ведь рабоче-крестьянская власть...

— Может быть, Вы сдавали не продразверстку, а продналог?

— И продразверстку сдали, и продналог сдали.

— Вы сами это все сдавали?

— Нет, мы живем в Москве. Это я про деревенских крестьян...

— А чем Вы в Москве занимаетесь? Землю пашете?

— У отца торговлишка кой-какая. Мелкая. Мы не буржуи. Мы из крестьян.

Сын священника предупреждает, что он не читал „Теории исторического материализма“ Бухарина, требующейся по программе коллоквиума, но зато очень хорошо знает полит. экономию и конституцию.

— Какой орган управляет церковью в России?—спрашиваю я его.

— Комиссариат Святейшего синода,—отвечает он.

— Что такое ценность?—экзаменую я его из политической экономии.

Ценность—это деньги, большие деньги.

— А малые?

— Ну, какая же ценность малые деньги!—воскликает он.

И, наконец, как сверх-куръез невежества, который я привожу с опасением, чтобы не заподозрили меня в выдумке, это ответ „абитуриента“ из интеллигентов, сына бывшего адвоката.

— Какое значение имеет Донбасс?—спросил я его.

— Дон Бас...—отвечает он раздумчиво.—Это что-то про Испанию. Я знаю, что дон—это звание, в роде дворянина. А что такой Бас, право не знаю. Я немного слаб в истории.

IV.

Часть „чистоплюйской“ публики, сдававшей коллоквиум, загодя вызудила на зубок и „Азбуку“ Бухарина, и его же „Теорию исторического материализма“, и „Конституцию“ Стучки—словом, всю политическую премудрость, составлявшую программу коллоквиума. Эта публика давала отшлифованные определения по книжечке, без сучка и задоринки, но как только я переводил вопрос с почвы теории на почву действительности, „чистоплюй“ попадался впросак.

— Что такое капитал?

— Капитал—это ценность, дающая прибавочную ценность,—чеканит „по Бухарину“ зубрилка.

— Как Вы думаете, у сапожника, собственника маленькой мастерской, есть капитал?

— Ну, какой же у него капитал! Никакого капитала у него нет. Сколько он может накопить в банке?

Другой зубрилка, точно и чеканно определивший формы капиталистического хозяйства и знавший наизусть Стучку, на вопрос о том, что такое революция и какими особенностями отличалась Октябрьская революция от февральской, развел такую рацею:

— Революция это смена власти. Февральская революция состояла в том, что Николай II был казнен Керенским, который сменил его, а в Октябрьской революции Керенского сменил Ленин. Керенский был расстрелян кронштадтскими матросами.

На первый взгляд совершенно непонятно, как это молодёжь, вырастая вместе с революцией, совершенно ее проглядела, точно она жила не в России, а где-то в неведомом, далеко, за плотной китайской стеной. И в самом деле, это было именно так. Тот слой, к которому относятся „чистоплюи“, создал в Советской России нечто в роде эмиграции, внутреннюю эмиграцию. В семьях этих „чистоплюев“ говорят о революции лишь постольку, поскольку она бьет по их шкуре. „Чистоплюи“ знают революцию со стороны уплотнений, реквизиций, с пайковой стороны, и когда я нарочито заводил на эту плоскость беседу во время colloquiuma, то получал самые ясные и толковые ответы. На вопрос о том, какие газеты читает „чистоплюй“, я получал почти поголовные ответы: никаких. Причины, приводимые „чистоплюем“ в оправдание своей индифферентности к прессе, состояли либо в ссылке на недосуг, либо в жалобе на то, что средств на газеты не хватает.

Вот из этих элементов составлялись кадры студенчества до этого года. Элементы внутренней эмиграции, слепые и глухие к великой кровавой борьбе трудящихся в России, заполнили университетские аудитории, учились на пролетарском горбу в то время, когда на фронтах обильно лилась рабочая и крестьянская кровь и не удосужились даже дать себе труд посмотреть вокруг себя, чтобы узнать, что русская революция создала, пока они учились. Эти элементы и по сию пору в значительной мере изобилуют в аудиториях старших курсов в ВУЗ'ах.

V.

Конечно, „чистоплюи“ в этом году не попали в университеты. „Политика“ сослужила службу в качестве плотины против буржуазного элемента, прорывавшегося в университетские аудитории. Пролетаризация ВУЗ'ов в пределах их младших курсов удалась, потому что тот же коллоквиум по „политике“ трудовой элемент при тех же требованиях сдавал более или менее благополучно.

Студент-пролетарий знает „политику“ не по книжке. Значительная часть сдававших коллоквиум только что окончили с другим экзаменом—по практике революционной борьбы на фронтах, и им было не до книжек. Но „политику“ они сдавали и обнаруживали знания, потому что изучали ее в обстановке практической, в качестве активных деятелей этой „политики“.

Сдающий коллоквиум демобилизованный красноармеец застенчиво мнет в руках свой шлем и заявляет:

— Я, товарищ, должно быть, не выдержу. Ничего этого, что об'явлено, не читал. На фронте было не до чтения, а как демобилизовался, то в деревне не то что книжку, газетку не достанешь.

И все-таки он знает, чем отличается подразверстка от продналога и какой орган власти стоит во главе Республики.

— Как же не знать таких вещей, товарищ? Сам сдавал продналог.

Он подробно об'ясняет корявым языком, но толковыми, плотно сбитыми определениями причины отмены подразверстки и ее необходимости во время гражданской войны.

Рабочий на вопрос о том, что такое капитал, дает определение по-своему:

— Это просто. Деньги, машины, инструменты, земля—одним словом, всякая собственность, которой эксплуатируют труд.

Предо мною девушка с серым рабочим лицом. Работала с 8 лет на ткацкой фабрике и начала учиться 15-ти лет, уже при Советской власти. Она окончила трудовую школу и поступает на естественное отделение физмата, потому что интересуется естественными науками. Так как она заявляет, что прочла все, что требуется по программе, то я задаю ей сложный вопрос:

— Вот Вы избрали по своей воле естественное отделение; между тем, как Вы читали у Бухарина, исторический материализм отрицает свободу воли. Как согласовать Ваш свободный выбор с материалистическим детерминизмом?

Вопрос-то я задал, а сам внутренне упрекаю себя: разве можно такую трудную задачу ставить на коллоквиуме да еще работнице.

Она думает с минуту и отвечает:

— Мне кажется так. При теперешнем развитии производства и техники естественные науки необходимы. На них есть большой спрос. Оттого и тяга на естественное отделение. Ежели этого бы не было, не было бы и развития естественных наук и не было бы такого специального отделения при университете. Я не наврала, товарищ?


Ну, конечно, она не наврала, потому что Бухарина она не вызубрила, а выносила в своей пролетарской голове, в своем рабочем сознании.

Вот это новое студенчество, настоящее красное студенчество, устремившееся в университеты не для карьеры, а для знаний, впитывающее в себя науку, как губка воду, и претворяющее свои знания в жизнь—это студенчество вытесняет „чистоплюев“, „белоподкладочников“ и студенческое мещанство из университетов.

Октябрь вошел в университетские аудитории и творит в них новое.

Б. Беккер.

На закате.

 тарик профессор, ещё крепкий старик, с лысиной с бритым лицом, аккуратно (в Германии учился!) каждую субботу в 10 часов утра являлся в лабораторию принимать зачеты.

В эту субботу вышел позже. Погода была сабачья, злющая. Дико гнался ветер за пляшущими в морозном воздухе снежными хлопьями. Край профессорского шарфа со спины на грудь перебрасывал. Кучами снежинок седые усы засыпал. Опираясь на толстую, суковатую палку, брёл профессор Медленно...

Брови хмурил только: недоволен был.

Не погода причиной была—привык старик...

Да и шуба теплая, енотовая. Не страшно...

Письмо вчера получил „оттуда“, из Варшавы.

Писал старый друг—профессор. Искал себе лучшей жизни, где бы привольнее да посытнее. В чужом городе, в чужом университете, наскоро овладев чужим языком...

Пишет:

„Приезжай и ты, друг! Я больше не курица—просом (пшеном-то!) не питаюсь... В тепле да в почете“.

Хмурит брови профессор. Сердито смотрит из-под засыпанных снегом бровей на красное здание университета.

Робко поклонился встречный студентик.. Профессор пренебрежительно кивнул.

Все думает:

Смерть не за плечами. Сын в Москве:—ассистирует. Жена в могиле—сыпняк прихватил. Одинокий остался. Служба есть

хорошая. Сытно, тепло и в почете. Профессор—спец, знаменитый!

Как будто и ничего...

В университете лекции, полные аудитории, уважение студентов.

Да хорошо-бы! Только новое что-то подкапывается.

Чувствует профессор—почва под ногами уходит.

Это молодое, крепкое, что в университете куется.

Новое студенчество.

„Бюро ячейки“—читает часто, проходя по длинному корридору... такому знакомому...

А там—лица безусые, новые. Глаза у них бойкие, смелые, требовательные...

А речи-то! (говорят люди: сам не слыхивал). Речи задорные.

Медленно поднимается по лестнице. Перед дверью лаборатории—толпа студентов. В руках книжки, записки.

Ежятся,—в шинелях да в пальтишках, ветром подбитых. И женщины, маленькие, в кофточках, в туфельках...

Насупившись, прошел профессор. Пару робких девичьих глаз встретил,—поклонился холодно.

Сел у края длинного стола.

Холодно!.. Только шапку снял. Лысину по привычке погладил. Поежился...

Достал из кармана бумаги, на стол выложил.

Билетики—программа...

— Позовите студента!—бросил.

— Садитесь. Билетик пожалуйста!

Потирая руки, машинально начал вопросы задавать.

Глаза в окно, к хлопьям пляшущим.

Нижние стекла совсем облеплены, только в верхних их пляска видна...

Думает профессор:

— Что другу написать—Не поедет?—

Скажет друг,—за чечевичную похлебку мужланам предался...

Неловко стало от этой мысли. Косо посмотрел на студента.

На кончике стула присел. Жалкий в своей робости.

В ответах путает. Лицо серое, скучное.

Взял профессор матрикул—зачел...

— Пришлите следующего!

Тоска... Где выход-то?

А хлопья скачут, пляшут. Неслышно стекло облипает.

Устало профессор глаза закрывает, точно мозг его снежинки облепили... Устал от мыслей, от колебания.

Перед ним девушка. В платке. Губы бледные—от испуга (гроза—профессор!). Над ними—носик, как пуговка. Боится, дрожит. Сбивается.

Краснеет вся—не то от холода, не то от смущения.

Боится холодных задумчивых профессорских глаз.

А когда услышала:

— Придете в следующий!..—вздрогнула.

С'ежилась. Глаза забегали. Влажны стали...

— Напрасно!—подумал профессор, когда дверь закрылась, прищемив край платка,—не следовало-бы! Жалко...

На стуле спокойно и уверенно сидит студент.

В пальто по моде. Воротник котиковый. Шарфик шелковый. Пенсне в золоте.

Думает над вопросом. Отвечает, с грехом пополам, но уверенно.

А когда профессор подписал „отлично“,—поклонился вежливо, поблагодарил.

— На сына похож,—подумал старик.

Взгрустнул.

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

Сын-то тоже, будто, другой стал. Заразился, что-ли. Молодой ученый. Говорят: „советским стал“!

Доверием пользуется. Любит студенчество трудовое. Отцу пишет редко. И другим языком, каким-то странным...

— Отстал я, что-ли?—тоскливо думает.—Сын перерос. Новым нанюхался. Взял бы и уехал. Глаза-б не видели!.. Знакомым показалось лицо студента, что руку за билетом протягивал.

Отвлекся.

Где это видел его?

Начал машинально спрашивать по прежнему...

В окно смотрит... Бель глаза старые режет...

Вспомнил. Проходя, видел.

Там, где „ячейка“.

На столе сидел, на краю,—ораторствовал.

Глаза блестели, молодые, зазорные. Длинные волосы назад закидывал...

— Вот кто творцы нового! Им будущее принадлежит. Они-то под устои подкапываются.

Оживился:

— Да, как же вы объясните это явление диссоциации?

Смотрит на безусое лицо, зазорное. Удивляется. Больно зелено.

Ответ на вопрос, и еще ответ на вопрос, и еще, и еще...

Зачел... Сдвинул брови студент.

Не по себе профессору. Нехорошо как-то!

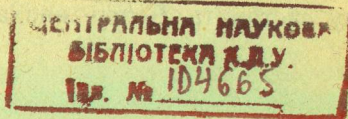
Надоело все!

А тут все новые лица, все те же вопросы...

... А хлопья попрежнему за окном пляшут.

Чудится, зовут:

— Сюда, старик!—засыпим, закопаем,—а с тобой все старое, прогнившее, отжившее. Дорогу новому, молодому, сильному, зазорному!..



...Служитель заботливо кутает шарфом профессорскую шею. Предупредительно двери открывает.

Медленно профессор с лестницы спускается.

Глаза студентов провожают. И под ними горбится спина профессорская.

Только крепче сжимает рука в кармане письмо от друга, — оттуда, где спокойно живет, где крепки устои...

Киев.

Любовь Селецкая.



Бывает и так.

ижу и с досады кусаю ногти. Настроение „корявое“. И есть отчего... Во-первых, утром прилетел из Жил-отдела контролер, пронюхал, видно, из моего заявления, что есть комната... Маленький такой, с серыми глазками и розовыми щеками. Покрутил носом по комнате, схватил стул, с размаху сел и... провалился... Выпрыгнул, провел сзади по брюкам и разозлился. Облаял за то, что нигде не служу, и приказал убраться в общежитие, так как для нас де имеются сорок лучших домов с отоплением, освещением и развлечением, чуть ли с покковскими пирожными, а сюда, мол, можно кого и „лучше“ поместить... Потыкал перед моим носом портфелем и выскочил.

А во-вторых, дождь так усилился, что с потолка на пол тонкими струйками потекла вода; подставить нечего, и в комнате образовалась лужа.

Смотрю на пол, который со всех сторон пересекают водяные дороги, то маленькие, то большие, то узкие, то широкие, и вспоминаю немую карту Европейской России. И только хочу заставить Волгу впадать в Каспийское море,

как почувствовала, что хвост моего платья с жадностью пьет из Атлантического океана, который образовался за моей спиной...

Давай, думаю я, голову и ноги помою. Хватаю фибровый чемодан и подставляю под небесный поток.

Звонят...

Входит знакомый студент с длинными ногами, длинными руками, длинными ушами и длинным лицом... Он три недели ищет комнату, один день есть сырой лук, а другой день вареный, потому, может быть, и подлинял. Знакомых у него только я одна, да и то, как он говорит, „никчемная“.

— Живете?—спрашивает.

— Живу.

— Это что?—косит он на чемодан с водой.

— Купаться буду—отвечаю угрюмо.

— В чемодане-то?..—И сплюнул.

— А у меня сегодня контролер был из Жилотдела. Выругал меня за то, что не служу и велел убратсья в общежитие.

— Это хорошо,—одобрительно кивает „длинный“.

— Что-ж тут хорошего?—обижаюсь я.

— А то, что Семку тоже вот так...

Семка это наш общий с „длинным“ знакомый; демобилизованный студент.

В семнадцатом году пошел на войну... Четыре года воевал с белыми. Освободившись от военной службы, приехал в Харьков. Две недели искал комнату, ночуя „где ветерок ковыль степной колышет“, наконец нашел комнату с провалившимся потолком, продал „робу“, как он сам говорит, замазал потолок.

Подал заявление в Жилотдел, а контролер ему „в общежитие“, мол, и—конец.

— Да переполнено оно,—доказывает Семка.

— Не мое дело, студентам занимать комнаты нельзя; ордер не дадут, все равно. Если бы были рабочий или красноармеец, дело другое.

Домкомбед тоже:

— Уходите с Богом! Не хочу из-за вас три месяца в тюрьме сидеть.

Взял Семка политическую грамоту, штаны, и пошел...

— Где ж он теперь?—спрашиваю.

— В Жилотделе, „объясняется“...

— Пойдемте и мы.

Пошли... В Жилотделе так же, как и у нас в Новороссийске, когда отступали белые. Лица усталые, замученные. У кассы стоит хвост „счастливицков“ с хвастливыми мордами. Решили пойти к заведывающему и окончательно „выяснить“. Меня попросили остаться, а сами пошли.

Наконец, вышли от заведующего... Последний обнадежил и обещал уж окончательно „выяснить“... Поверили. Говорят, это был вновь назначенный заведующий, а известно: „Новая метла хорошо метет“...

Шли домой веселые и довольные. Вспоминали, как прошлую зиму жилось студентам. Жили прямо на улице по несколько человек... Когда все уходили, один сторожил „имущество“. А потом пошли с „длинным“ в один дом, где, говорили, есть комната. Уговорились, что просить я буду.

Пришли. Хозяйка—„дама приятная во всех отношениях“. Рассердилась, узнав, что мы просим комнату. У нее нет, и она даже удивляется... А если и есть, то, все равно, она не даст: комната занята.

— Но где же будет тогда жить моя свинья?..

— Свинья!?..

— Ну, да, свинья. Сарая у меня нет, кладовой тоже нет... А на дворе холодно...

— Можно посмотреть комнату, которую занимает свинья?—спрашиваем робко.

Комната большая, светлая, с двумя окнами.

„И даже не течет“, с завистью думаю я...

На полу корыто, два поломанных стула и несколько труб.

В дверях хозяйка по секрету сказала мне, что если бы отступное дали, то она как-нибудь уладила бы...

А когда пришла домой и увидела полный чемодан воды, мокрый пол, мокрые книги, вспомнила большую, светлую, сухую комнату с двумя окнами и сухими стенами, и в первый раз искренно от всей души пожалела...

— Господи, отчего я не свинья...

I. Сенченко.

Тирса.

(*Stipa capillata*. L.).



вьодор Хвьодорович! — Так і уявиш собі які небудь Великі-Бучки Чернещину... Нехворощу.

Стоїть собі дядько, батіжком цвюхає—філософствує:—„Воно конешно, Хвьодор Хвьодорович, справедливо і продподаток і...“ і дивиться канальська борода, чи не показується де з‘за яру отаман Брова...

Це тільки так, асоціація, а справді „Хвьодор Хвьодорович“ тепер отут філософію розводить. Перескочив шість триместрів Рабфаку (він би міг і 12 перескочить, коли б потрібно було) і дивиться інженіром...

Чорт його знає! (як тут не виляється!) Метаморфоза! от-так — був собі Федя, Хведько (може той самий Хведько Халамидник). Потім глянув:

— Закуріло... галоп... степ... тирса... могили... і
раптом
перед вами
продковітвиконком'а з хлопцями.

Впереді прапори, позаді прапори... кулемети...
кіннота...

— Звичайно „Хвьодор Хвьодорович“ з повіту, або туди.
Це з минулого. Бо тепер, бачите, інші времена... Де погор-
дий отаман Брова, що жахом літав по степах і круком крукав
на місто? Це всене те. Пройшло. Епізоди. Головне тут—
лежить зруйнована, незакінчена, велика залізниця—від
Мерефи до Херсона... доХерсона... до самого моря...

І лежить вона, чекає, така сумна! Заросла бур'янами,
полинем... тирсою...

Тирсою.

— Хведя (ми його так і будемо звати).—Бачиш?—Тирсою!
Підводить очі Хведя (Ой, Хведя,—слово чести, як дуб—
Брова новіть дивувався—Пам'ятаєте 21 рік, Перекоп і т. инш.?)

Так от, підводить очі Хведя, а перед ним книжки—одна...
друга, третя... а далі ціла полиця... і все книжки ґрунтовні,
сер'йозні, і все книжки такі, що зложить би до купи, то й
Сампсон—який він не був дужий—не підняв би.

А Хведя тужиться, аж голова йому полисіла і побіліли
пальці.

Здоровий був дядя Хведя! (зіпсував якийсь лікарь—ліку-
вали електрою від нервової хвороби—звідти й лисіти почав...)

II.

Технологичний обрив спустився глиною і там, внизу,
зацвів буйно, буйно—черешнями.

Напровесні сонце... цілі тони, кілометри, кіло-тони сонця!

Напровесні т. Бухарін врешті дозволив Хведі вільно зітхнут
—Годі-„телеологіі“, годі математики. —Дайош сонця!—Берьош!

Лий на плечі, на голову—лий! Мий сонцем обличчя, руки
голову, груди!

І закрив т. Бухарін свої многоперелистані студенськими
міцними пальцями сторінки, і ліг поруч з диференціалами, інте-
гралами і всякими другими „алами“; ліг і замріявся..

Замріявся і Хведя.

— Чи то сонце розбуркало жили, чи сама закипіла
кров—а тільки снується золотий серпанок, срібногаптований
туман, а в тумані тому, срібногаптованому, встає і гойдається
і пливе, пливе дівчинка... Дівчинка, не дівчинка—золоте во-
лося, золоте волосся і очі вороно-темні

Лежав під обривом, кручею.—Глина з-під рук сипиться
і, стежкою розбігаючись,—прямо на дно. І здається, то не стежка
по глині, а золоте волосся, золоте волосся россипається...

— Фу ти, біс йому в шапку!

Хлопець підводиться.

— Весна! Бунтарствує плоть!

Потер мідного лоба і встав на ноги.

— Бунтарствує. Да.

Глянув на схід—зеленів і курився димом і вербами при-
город. А тут поміж вишняком, дерезою, полинем—стежка,
в'ється гадючкою, біжить на низ...

Хіба так?

Пішов.

Було якось надмірно легко. Трішки крутилась голова.
Од сонця?—Чи од того, що з середини попірали і бентежили
весняні сили?

Через стежку перебігла ящірка і... в дерезу.

Зацікавився. Сів і дивився. Пролетів цікавий вітерок і
приніс з собою черешні, розбився, розвіявся і впав.

III.

Постукав у низьке віконце.

— Дома?

М'який шелест кроків. Замаяло білим.

Ніжність продерлась до грудей і раптом відчинила для кохання і для сонця вікна...

Близкість жінки п'яніла...

Чорт його знає!

Думки розбіглись, як білі ягнята...

Цокнула щеколда.

— Ага—прийшов?!

— Розуміється,—і засміявся—

Дівчина подивилась цікаво. Зачіска *à la* більшовичка м'ягко спадала на чоло і шию. Тоненький стан ніжно обхоплювався чорним ремінцем.

Гарна, надзвичайно гарна.

— А я, бач—*anemone nomerosa, Stipa Capillata*... і таке інше. Одним словом сістематика.

— І який же біс вивчає сістематику по чотирьох стінках... — скакнула думка, і одразу Хведір забачив і себе і її на шляху—серед широкого, широкого степу.

Але не сказав. Поніс якусь дурницю.

Це трапляється.

Росказав детально про свої справи, про заботи, про те, що давно бачились і взагалі про все, про все, що не стосувалось до діла.

Вона теж, слухала, одповідала, розказувала і обоє чули що це все не те.

Сонце пробивалось у вікна, чути було, як цвірінчали горобці. Жіночий голос виводив, десь на подвітрі, якусь веселеньку, весняну мелодію.

Врешті Хведір не витримав.

Все дурниця! Плоть бунтується.

— Надя!

— Дівчина примружила очі, подивилась і засміялась.

— Он як? Це й примусило тебе прийти?

— Коли хочеш—так. І одразу почув, що почервонів—але почавши раз, вже не стримувався, говорив далі і сам почував, як билось йому в консонанс дівоче серце...

Вона не опіралась. Тільки очі дивились вороно і глибоко в сіду тирсу хлоп'ячого бунтарства.

IV.

„За журавлівкою на боках глибоких ярів можна знайти *anemone silocstria*, *anemone patens* і *Stipa Capillata*. (Савенков).

„По окрестностям Харькова“.

„З кінця травня, або на початку червня настає період найроскішнішого розвитку рослинності. В цей час фон утворює тирса (*Stipa Lesingtiana*) своїми довгими білопушистими вістями... В кінці літа ї замінює *Stipa Capillata*, котра відрізняється від перистої тирси волосноподібними, кучеряво-ріжноманітними вістями.

(Арнольдї).

Систематика завжди вивчається на екскурсіях. Там же, разом з *anemone patens*, розпускаються бруньки весняного кохання і пізнається тайна гетеростилії. (Конструкція органів квітки, що не припускає самозапліднення)

Сонце заходить. Роскішні заграви, пронизані синіми списками піднімаються десь над степом. Вони золотять дівчину, і вся вона спалахкує і тоне в вечірній млі.

Коли купа квіток набірає розміру, гори—вони сідають, перебирають, систематизують—квітка до квітки, стебло до стебла

А вранці повертався до дому свіжий і молодий і думав:

Тирса:—вона любить простір і сонце—тому вона така буйно шовкова. Діти завжди називають її так—„шовковою травою“.

А „тирсою“—мабуть чумаки прозвали так...—Книжки ж величають *Stipa Capillata* і т. инш... Од Мерефи до Херсона залізниця--мертва. Заросла тирсою.. Шумить, гойдається тирса, пробігає білими хвилями..


Сходило сонце. Хлопець бачив, як нараз здригнуломертве полотно—ухнуло, покотилось і застогнала луна.

Пригинаючи, розриваючи шовк тирси, промчався залізний кінь от Мерефи до моря.

1923.

Н. Гуревич.

М е д и к и.

лышали о доме Пролетарского Студенчества? Не так далеко от вас, но и не так близко. Дом, как дом, не без удобств. Из заднего двора „Баня“ выглядывает, железные ворота на Сумскую улицу с надписью золотым по серому: „Дом Пролетарского Студенчества“. У калитки будка черная, а на ней надпись: „Караульный“. И не в будке дело, а в рабфаковце с винтовкой за плечами. Ходит вокруг да около, на Сумскую глядит, публику, знать, рассматривает. Думаю я, что винтовка не настоящая, поддельная, ибо что охраняет он—неизвестно: дом ли от благородных девиц или может к вывеске поставлен. Скучно под винтовкой без врага. Глядит на Сумскую, публику рассматривает, разговоры слышит.

А всего больше медики околачиваются: Институт по дороге выходит.

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

„А спрашивал меня целый час, а я говорю: не знаю, в учебнике этого нет... Лицо сделал злое... Я замолчала... Завтра пойду“...

„Что экзамен—счастье, случай, лотерея. Надо и себе итти... Провалишься—легче станет“.

„Занятные люди—думает рабфаковец, и только подумал, а их целая стая плывет:

„А я в Учебно-Контрольную, а они мне политграмоту закатали, чуть было не срезался“.

Улыбается рабфаковец: взрослый человек, а политики не знает.

И еще такие разговоры слушал, что и не рассказать; одна курсистка на всю улицу орала: „Принесите внутренности мои, вы у меня их на день одолжили, а неделю целую держите“, и пр.

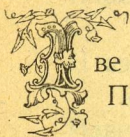
И бегают целый день медики, встречаются, все диковины рассказывают товарищам на удивление. А жизни, как будто, и не замечают. И решил рабфаковец, что медицина наука хорошая, а медики народ странный, диковинный.

Немо.

Studentiada*)

Песнь I.

эскиз.



ве тетради, книжек пачка,
Подоконник, стол и „дача“—

Обстановка хоть куда.

Скальпеля, очки, фуражки,

Три портянки, две рубашки

И на примусе вода.

*) Помещая настоящий бытовой эскиз, редакция сборника имеет в виду ознакомить читателя с некоторыми штрихами быта худшей части современного студенчества, сохранившего „старые традиции“. Новое, пролетарское студенчество являет собою совершенно иное. Редакция.

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

На столе—от стула ножка,
Бритва, хлястик, нож и ложка,
Брюки, чай и сапоги.
На кровати—две подтяжки
Нос, глаза, очки и ляжки
И на спинке две ноги.
Сзади латаные брюки,
Ковыряет нос от скуки
И лирически поет.
Два других, блестя очками,
Рвут тетрадь одну клочками,
Зубрят будущий зачет.
У окна один „коллега“
Наблюдает кучу снега
И забрызганный забор.
А другой, ероша волос,
И в октаву басом голос
Поднимает жаркий спор.
Медик курит папиросы
И молчит на все вопросы;
Спорит с ним ветеринар.
И пищат, как будто птички,
Две веселые медички
А юрист горит, как жар.

* * *

За окном уже темнеет...
Грязный снег, блестя, синееет...
Зимний вечер—как всегда.
Фотография с натуры
(Говорят—медички дуры)
Нет... Неправда... Ерунда...
Иногда..... Но не всегда.

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

* * *
П е с н ь П.

Медичка.

Их было двое.

(Рассказ не долог).

Один был медик,

Другой—технолог.

Один—сановиник,

Другой—флегматик.

Один был циник

И математик.

Один—прозаик,

Другой—поэт.

Один был рыжий,

Другой—брюнет.

Курили оба

Один табак.

Один—философ,

Другой—дурак.

Друзья до гроба

(Носили кличку)

Влюбились оба

В одну медичку...

Влюбленность эта

Известна всем:

Один немножко,

Другой—совсем.

* * *
Один усердно
Решал проблемы,
А медик бледный
Писал поэмы.

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

И вот однажды
Медичка эта
Стучала утром
В дверях поэта.
Визит был ранний
(Весьма не кстати);
Технолог томно
Лежал в кровати.
В его очках
Блестели слезы,
А в голове
Мелькали грезы.
Какая нега
И красота...
„О, вы, коллега“,
„Моя мечта!“
Ответ—достойный
Ультра-медички:
„А я была...
„В анатомичке;
„Сдала для групп
„Зачет прекрасно...
„Но старый труп
„Терпеть ужасно.
„Нашла пинцетом
„Fosso ovalis.
„Да. В этом... этом...
„Мы занимались.
„Фи... там на трупе
„Такие складки...
„Понюхай только
„Мои перчатки...“

„НА ПЕРЕЛОМЕ“

Молчал технолог,
Дохнуть не смел;
(Рассказ не долог).
Он побледнел.
Швырнул со звоном
Тетрадь и книгу
И с тихим стоном
„Поехал в Ригу“
Ах!.. Где же нега?..
Где красота?..
Моя „колега...“
Моя мечта...

Христин.

Карлович.



(з життя студентів Київського Медінституту)

Лежав Карлович на постелі інтернату. Лежав без всякої мети, хотілось ще з пів години полежати, обміркувати, що має сьогодні робить...

А він думати майстер: не даремне його прозвали „Карлович“. Справжній німець—і кінець...

В його уяві сілуєти студеньської дійсности: „зубрьожка“ в холодній кімнаті, замість сорочки камізелька, черевики з кардонною підошвою, і в закінчення всьому цінична лайка членів курскому. Не встигла ця думка вийти в сферу пізнання, як Карлович струхнув патлами і сціпив зуби. „Безобразіє!—треба ришуче боротись з тим.—Все ж таки ми не аби що, а студенти!“

Стіл на трьох ногах; забите діктом вікно, розвалена пічка, цвіль по кутках.

На дворі в той час червоне сонце виграє веселкою на кришталях сніжинок що грають діамантами, сиплються искрами, немов би бавлючись своєю легкістю. З боку вокзала голосно кричить паровоз. Він виводить Карловича з забуття.

Підчас засідання Карлович мовчить; видно намагається спіймати, в покручених зигзагах мозку, зародки думок.

Нарешті просить слова. Насуплює брови і починає так:— „Товариство, нам треба подумати про те, що де-які з наших товаришів розбещують маси“.— Всі питливо дивляться на нього.— „Да, як це не смішно, а воно так є: розбещують!“—Сміються. Запитання:—Як, чим?—„Лайкою“.—Сірі студенти беруть приклад з передовиків і теж починають лаятись. Та от, наприклад: Микола, той самий, що живе з Карловичем, ви його всі добре знаєте, а коли ні, то я де що про нього розповім: високий, широкоплечий, безвусий, в студеньському кашкету на польський фасон,—оце і все. Раніш він був тихий, лагідний, а тепер що хоч роби: не встигнеш що будь сказати, як він зразу так і випалить“.—Это дело вкуса,—сказав кот... і...—секретарь заливається сміхом... Це в його огородині камінці кидають... — „На мою думку,—продовжує Карлович далі,—треба організувати кружок“... Репліка з місця:—На зразок інститута благородних девиць?—Сміх.

Але Карлович продовжує, навіть не червоніє, він не хоче, щоб так „грубо“ лаялись. Він же хоче, щоб „тонко“ лаялись, бо не лаяться ніяк—не можна. На жаль докладчик не інформує, хто буде керувати такими дисциплінами, як, наприклад, кек-уок, і реверансами. Члени курсома слухають мовчки, один до другого промовляючи очима.—„Яке кому діло до того, хто і як поводитьсь“. Далі посміхаються вусами, уявляючи себе паїньками.

Після засідання Карлович пішов до Ідальни. Там періодично разноситься голос чергового:—„Не сидіть по годині,

поїли і марш!“—Взяв перше і друге.—„Коллега, будь ласка“...
—Карлович торкається сусіда:—„Обережно, товаришу“.

Почав вставати.

— Куди прьош, морда,—визвірився сусід.

Карлович тільки подивився.

Прийшов до дому. Повна хата диму. Микола зубрить біля жаровні. Мовчки роздягнувся, ліг; накрівся трьома газетами і зверху шинелею.—„Микола, дай каганця.“ Микола щось буркнув собі під ніс і не встає з місця. Карлович підводиться, достає черевика і, промовляючи:—„Это дело вкуса...“—жбурляє в Миколу. Потім повертається до стіни і засипає сном праведника.

Що йому сниться?—З початку він сміється, далі стогне. Місяць зайчиком освітлює ліжко. Тихо. Ніч.

П. Суслин.

В корридоре.



(Бытовой набросок).

Чередь жужжала, как неугомонный пчелиный рой...
Лента людей широко распласталась вдоль по узкому институтскому коридору, ударившись головой в дверь, за которой скрывалось нечто, что пугало студентов.

О чем жужжат они?

Одни весело рассказывают о том, как им только-что удалось опутать комиссию по освобожд. от платы, что за дверью заседает; другие—о том, что комиссия была несправедлива к ним, третьи возмущались тем, что студента Щипацкого освободили, отец которого—бывший биржевик—теперь красно торгует.

— „Возмущаетесь, жужжите, а комиссии, поди, не заявите“,—выступила студентка с лицом, изрытым оспой.

— „Что мы, шпики, что ли“?—презрительно ответил ей коллега.

— „Мораль!.. усмехнулось изрытое лицо,—это все равно, что преступника скрывать“.

— „Вы же знаете, что Шипацкий освобожден за счет какого-либо бедняка: норма ведь“,—продолжала она.

— „Лучше из института уйти, чем быть доносчиком“—заявил возмущавшийся студент.

— „Только по задворкам шептаться,—не успокаивалась курсистка.—Граждане... Общественники... ха-ха-ха,“—смеялась она.

Шум мгновенно прекратился.

По коридору с кавалерийской быстротой пронесся студент в старой солдатской шинели и новой студенческой фуражке, всем приятно улыбаясь, как бы всех обещая освободить от платы: член комиссии.

Он не слышал разговора о Шипацком... И не надо... Ведь он член комиссии: сам должен знать.

Вслед за членом комиссии, оторвавшись от очереди, бросилось несколько студенток и студентов, называя его—кто—товарищем, а кто—коллегой. Отбиваясь от них, член комиссии ворвался в приемную комнату, где уже заседала комиссия.

Прием продолжался...

У стола курсистка Н.

Вертляво поворачивая свою грациозную головку, бывшую под действием H_2O_2 , заманчиво обещающе улыбаясь, она бойко отвечает комиссии на вопросы.

— „Чем занимался ваш отец до революции“—спрашивает ее.

— „Торговал“,—тихо отвечает она.

— „А теперь чем занимается“?

— „Теперь—ничем“.

— „Т.-е., как ничем, продолжает комиссия опрос,—на какие-же средства он живет“?..

— „Он живет у брата“.

— „А брат—чем занимается“? любопытствовали люди за столом.

— „Брат... брат торгует“... последовал ответ.

— „Значит, и отец торгует“?..

— „Нет, отец—вроде приказчика, а патент на брата“...

Курсистку N, сменила курсистка X, отец которой выслал деньги на уплату за правоучение, а она пошла себе за эти деньги манто.

— „Не могу же я в своем кругу вращаться в старом пальто“—жалуется она Комиссии.

Бедняжка!.. Она то и не знает, что Комиссия не может понять ее горя, ее нуждемости: толстокожая она, комиссия...

— „А вы попросите отца выслать вам еще денег...—рекомендует ей член Комиссии.

— „Не вышлет,—безнадежно машет она рукой,—и без того не мало высылал“...

Не безынтересен студент П.

Сегодня его и узнать-то нельзя: вместо меховой шубы, он одет в изрядно поношенный полушубок, на груди красуется К. Маркс; голову его украшает вчерашняя модница—английского сукна фуражка... Да и говорить он стал—не как всегда: заикается как-то...

Большущую кипу бумаг представил он Комиссии, удивив ее богатством своего прошлого... И где он только не работал, и чем он только не занимался!..

Был он и клубным работником в „клубе учащихся трудовой школы“, и делопроизводителем ассенизационного обоза, и счетоводом в Наркомвнешторге...

— „А теперь чем занимаетесь“?—спрашивает его Комиссия.

— „Теперь—безработный“,—отвечает он, причем сказанное подтверждает карточкой Биржи Труда...

— „Позвольте, вы, ведь, служите в Табактресте“?—говорит ему член Комиссии.

Смутился студент П., покраснел.

Неловко себя чувствовала и Комиссия.

— „Все слушается“,—прошептал вспотевший П., и быстро выбежал в коридор, в котором все так-же жужжала очередь, так-же говорили о плате студенты.

Любовь Селецкая.

В курилке.



этом час курилка еще не многолюдна. Согнутым по углам, одиноким фигурам, так удобно в казенном тепле сотни раз перечислять свои беды.

Перечисляю злобно и я:

— Башмаки разорвались и громко „чавкают“...

— Хозяйка „узрела“, что ежедневно ворую у нее дрова и „источник тепла“ мгновенно исчез...

— Хлеба на завтра нет... Взаимы никто не дает—чувствуют, что не отдам...

— Хозяйкина картошка, что сушится в проходной комнате, так „обрыдла“, что и красть нет охоты...

— Денег из дому не шлют, а если и пришлют, то очень мало.

— Дом, где я квартирую, взяла под свое покровительство Северо-Донецкая железная дорога. Обласкала жильцов; к весне обещала „омолодить“.

А пока, чтоб не скучно было, приказала обменяться этажами.

Обласканные жильцы как-то вдруг заскулили...

Заскулила и я...

Вычитала из газет, что можно обучать красноармейцев, получая за это паек, обрадовалась и „потопала“, надеясь попитаться. А вчера вышло какое-то начальство и раз'яснило, что не всегда „науки юношей питают“...

Словом, все шесть бед на-лицо.

„Семь бед—один ответ“—весело произносит студент, сидящий рядом.

Внутри у меня что-то щелкнуло и насторожилось:—Ах, я дура трехаршинная!.. Семь бед!.. Значит, чтоб уж совсем прикрутило, надо семь бед... Шесть—еще ерунда!..

Сразу почувствовала во всем теле такую легкость. Громко вздохнула и от радости, поерзав немного по скамье, даже тихонько пискнула... Комок, состоящий из башлыка и шинели, неодобрительно закопошился, глянул на меня кусочком глаза и опять припал к окну.

А вокруг уж говорят, говорят и говорят.

Курилка как-то сразу наполнилась, захлебнулась... Там и сям, наклонившись к подоконникам, стоя и сидя, по двое и группами, что-то пишут, что-то вычисляют, что-то раз'ясняют друг другу, давно не бритые, плохо одетые, со всегда озабоченными, серыми бесцветными лицами фигуры...

Это студенты...

Рядом с ними, скромно, холодно одетые, в шинелях и фуражках студентки. Они всегда куда-то спешат, о чем-то волнуются, что-то стараются понять.

Глядя на их согнутые, всегда озабоченные фигуры, я определяю, сколько штук бед притащила каждая с собой.

Друг к другу они обращаются со словом „товарищ“. Говорят о политике, о прочитанных книгах, о профессуре. Носят портфели со всем необходимым.

Вообще они такие „странные и непонятные“ и говорят всегда „такое“, что изящные, похожие на неуспевших загримироваться актрис, одетые по „последнему крику моды“, пахнущие сразу всем парфюмерным магазином, модно причесанные легкие фигурки „курсеx“ разлетаются, проходя мимо во все стороны, и с гримасой на „выразительных личиках“—поражаются:

„Как это не скушно... Как можно так бесвкусно одеваться?“—Это—„курсеxи“ или „женский вопрос“,—как их называет мой приятель „Длинный“.

По терминологии „Длинного“ это—нечто недоделанное, узколобое и широкозадое...

„Курсеxи“ терпеть не могут слово „товарищ“ и употребляют его только в исключительных случаях, но обожают слово „коллега“.

— Такое это прекрасное слово и звучит, как титул.

В руках у них красивые, хорошо пахнущие сумочки, где на всякий пожарный случай имеется тьма всего необходимого—зеркальце карандаш для глаз, пудра и губная помада.

В тетради, если таковая у них имеется, можно встретить следующее:

„21 октября—4 лекция—„элементы высшей математики“.

Профессор Иваницкий.

Бесконечно малые величины

Всякое малое, задом наперед задуманное... Тебе нравится профессор?.. Мне нет“...

Ниже другим подчерком:

„Мне тоже, я люблю красивых... Хоть непонятно, зато приятно“...

Или:

„Суббота, 1 лекция,

Родбертус в своей теории о прибавочной ценности говорит, что:

За башмаки 250 миллионов, сумочка 200 миллионов, итого 450 милл.

Кларочка, посмотри направо, третий от меня—мордашка—пальчики оближешь“.

От серых, бесвкусно одевающихся и таких невзрачных студентов и курсисток, они брезгливо сторонятся и не могут понять, для чего такие голодранцы лезут в высшие учебные заведения, но обожают и очень дружат с веселыми, „адски“ остроумными, одетыми тоже под „крики моды“, прекрасно выбритыми и такими выхоленными „студентиками“.

„Студентик“—это нечто, схожее с игрушечным солдатиком.

Они редко посещают лекции, отчасти потому, что это вообще „дурной тон“, отчасти потому, что они почти всегда в отъезде.

Забегут изредка—по делу—продлить студенческ. „билетик“, встретить нужного человечка, поговорить о ценах на товары, о выгодной продаже и покупке, о колебании валюты, о трестах, синдикатах и проч.

Их можно встретить в кабаре. В театрах они сидят в партере.

Сегодня, как никогда, это „народонаселение“ курилки в сборе, и, как никогда, волнуется, жужжит, визжит и негодует...

Еще озабоченнее выглядят фигуры студентов и курсисток, молчаливо теснящихся по углам. По их согнутым фигурам видно, что на затылке у них прибавилось еще по одной беде.

И еще резче выделяются яркими пятнами „курсехи“, похожие в своих ботах на курочек, у которых на лапках растут перышки... Звонко раздается их какой-то особенный, неприятный, словно их щекочут, смех...

Сквозь смешанный гул голосов отчетливо доносятся слова и фразы:

„Освободили“—„Рассрочили“, „ 20 руб. золотом, брат, в год“... „Это несправедливо“!

„Чорт возьми, если она в состоянии купить себе лопух, называемый шляпой, за 120 миллионов“,—горячится кто-то,— „ясно, что она может платить за правоучение... и ее же освобождают“!..

Почему, спрашивается?

„А потому, что она истратила все деньги на шляпу“.

„Если так будет продолжаться, я уйду на драматические курсы“, шепелявит вблизи „курсеха“, похожая на перекись водорода...

„Сначала заманули пайком—визгливо возмущается „студентик“, в таких блестящих сапогах, что хоть языком лижи,—потом назначили плату... Скромненько:—три, семь миллионов, а теперь, ишь, как махнули... 80 руб. золотом... Где же тут индекс?.. Да у меня от рода таких денег не бывало“...

„Вчера, говорят, опрашивали при всей аудитории“—наступая на меня, беседуют две „курсехи“—„такие интимности спрашивали, что прямо срам:—где отец служит?.. Сколько получает? А мальчишки все смеются. С Валея даже истерика была“...

„Почем сегодня десятка?“—слышится деловой шопот, где-то сбоку.

„Есть“—следует лаконически.

„Обмотай ноги газетой, как будешь обуваться, здорово помогает.“

Я читал где-то, что один вагоноважатый сшил себе даже тужурку из газет“.

„Одолжи чемодан“,—слышится умоляющий голос,— „только на недельку“.

Куда?

„В Одессу—за подошвой, 200 проц. чистоганом“.

Возле меня уселся целый выводок „курсех“. Солидно поговорили о том, что в театр еще рано, потому и завернули сюда „потолкаться“. Вспомнили старое студенчество. Удивились, что совсем перевелись интересные лица, поговорили о предстоящем бале и, проголодавшись, решили отправиться в кондитерскую...

А вот и „длинный“, не здороваясь,—всякого рода приветствия, он называет „антимонией“,—постоял минут пять, поискал по карманам давно несуществующую папиросу и угрюмо изрек:

„Вам и мне пятьдесят в год... золотом... вывешено там“...

— Вот тебе и седьмая беда—молнией проносится в моей голове.

И в ту же минуту все шесть старых бед приветливо закивали мне и торопливо полезли на затылок...

Рабфаковец Я. М.

Р а б ф а к о в ц ы .



удитория. На дубовых толстых партах сидят рабфаковцы. На подмостке у стола преподаватель естествоведения Сергей Корнеевич. Тихо. Ветер дует через выбитые окна.

Господа!.. простите, я все собираюсь говорить вам „товарищи“, а у меня на язык „господа“ лезет.

Дрожит старческая голова, качается из стороны в сторону; тускло поблескивают выцветшие глаза на сморщенном лице.

— Ничего!—подбодряют слушатели.

— Видно, он желает говорить „товарищи“, а у него получается „господа“—шепотом говорит Фома своему соседу.

— Прекратите разговоры.

Фома берется за бумагу, могучими руками выводит буквы. Ему 27 лет. Он высокого роста, широкоплеч, специалист-слесарь. Работал в люботинских железнодорожных мастерских. Смотришь на его могучие руки, и не сомневаешься, что они сумеют встряхнуть науку, как встряхнули весь мир...

За Фомой сидит Сергей, тот самый Сергей, который на испытании при вступлении на рабфак сказал: „Чего спрашиваешь; ты раньше научи, а потом будешь спрашивать!“

Сергею двадцать лет. У него резкие черты лица, задорные синие глаза, русые волосы. Он металлист-токарь. Командирован Харьковским паровозным заводом, с которым держит „связь“.

Сергей увлекается литературой, аккуратно посещает занятия по общественным наукам, выдумывает математические задачи...

За столом, наклонившись над тетрадью, весь ушедший в нее, копается Иван. Ему 37 лет. Он батрак, имеет троих детей. На рабфак командирован комнезамом и учится уже больше года. Ученье дается ему трудно, над каждым предметом сидит долго. Решит задачу—радуется, как ребенок. Иван сторонится молодежи, редко вступает с ней в разговор и, чувствуя, что ей легче дается ученье, старается не отстать... А вот, у доски стоит Кузьма. Руки дрожат. Мел выводит неуверенные цифры.

— Смелей!—подбодряет Николай Михайлович.

— Почему так неуверенно пишете?

— Чорт его знает. Как пойду к доске, то руки дрожат.—Широкое лицо покрывается виноватой улыбкой.

— Поляков, деникинцев, врангельцев рубал—никогда не дрожали руки, а тут...—оправдывается Кузьма.

Никто и не подумает ему не верить. Кузьма был председателем уездисполкома одного из бандитских уездов Украины, командиром одного из боевых полков, начальником партизанских отрядов.

Владимир Фомич преподает алгебру. Каждое слово он выдавливает, растягивает, хочет его вбить слушателю в башку.

— Тов. Васильев, вам какой предмет легче дается?—спрашивает Владимир Фомич.

— Налягу на геометрию—геометрия дается, налягу на алгебру—алгебра дается.

Васильев—красноармеец-боец. Был в Красной армии, Красной гвардии, на всех фронтах...

Звонок. Лава прет из всех дверей, разливается по коридору, бежит по лестницам; часть застряла, читает расписанное объявление редакционной коллегии „Рабфаковец“. Шум, говор, смех.

У перил стоит Ольга. Лицо ее бледно: пережитая болезнь и плохое питание дают себя чувствовать. Возле нее собралось несколько девушек.

— Владимир Фомич сегодня не говорил: „идите вы“, а „тов. Н, пожалуйста“—цедит Ольга сквозь зубы.

Окно облепили человек десять.

— Когда уж мы по-человечьи жить будем?—пристает Митя к члену студкома.

— Когда-нибудь будем. Вот стипендии скоро получим.

— Да что толку в них? За сентябрь—выдали в ноябре, и то в половинном размере. А что теперь за 35 миллионов

сделаешь? За октябрь—выдадут, наверное, в декабре, а в январе совсем перестанут выдавать. Про нас много говорят, обещают, а дела мало.

— Да что ты ноешь!—как-нибудь пробьемся—не впервой... Вот немного учиться этак тяжеловато. Ну, да ничего—еще заживем.

Павел и Владимир Фомич шагают по коридору.

— Как вы думаете, рабфаковцы ничего не будут иметь, что мы воскресные дни используем для занятий?—спрашивает Владимир Фомич.

— У рабфаковцев занятия—это праздник.

— И я тоже думаю!—говорит Владимир Фомич и горделиво продолжает:—Год лишь с чем-то тому назад, когда наш рабфак был еще курсами при институте, „старая“ профессура нам говорила: „Вы думаете, что из этих „ракло“ будут студенты?“, а в этом году у Ивана Михайловича (декана) несколько заявлений профессоров, в которых они просят зачислить их сынков в лучшее учебное заведение—рабфак, где можно получить серьезную подготовку, хотя-бы в качестве вольнослушателей. Приятно это...

В профессорской—дым коромыслом. На стульях, кожаном диване сидят преподаватели. Большая часть—молодые профессора.

— Довольно плохо используем мы производственный опыт слушателей, слабо связываем его с методом нашего преподавания, а ведь у рабфаковцев не меньше 3—4 лет заводского стажа,—горячится преподаватель графической грамоты.

— Я сегодня использовал—смеется чуть заметно Сергей Корнеевич,—диктовал конспект. Вдруг они с верхней парты:

„Медленней, не записал“. „Перепишите у соседа“, уговариваю его. „А может у него до чорта ошибок“. „Дадите вашу тетрадь, я исправлю“. „Ну, это ерунда!“ Гаркнул он, махнув рукой.

— На каком триместре это было?

— На первом.

— Тогда ничего, на третьем уж так не скажет.

— Сергей Корнеевич, видно, стихами диктовал минералогию.

— Какой там стихами, настоящей прозой—злится Сергей Корнеевич.

Внизу, в маленькой аудитории, в помещении бюро Комфракции, человек десять, примостившись на скамьях, стульях, подоконнике, ждут заседания бюро.

— Буржуазные сынки были больше связаны со своим классом, чем мы. Они жили вместе с ними. Они участвовали в их балах, вечерах, а чем мы связаны?—говорит Семен.

— Да ты не ори!—Сколько, как мы с заводов? Год. А ты думаешь, что за год мы уж другими стали,—отвечает Антон.

— А тебе еще пять лет здесь сидеть!

— Мы и в течение пяти лет будем те же. Да с чего ты взял, что мы оторваны. Связь с заводами у нас есть; она довольно слабая, но она есть. Вот на торжестве нашего „переименования“ были представители рабочих всех крупных заводов; это, может, покажется чисто формальной связью, но если вспомнишь, с каким вниманием рабочие паровозники отнеслись к нашему вечеру, то поймешь, что здесь много больше, чем „формальная связь“...

—Занимай, ребята, места. Объявляю заседание открытым—звичным голосом прерывает секретарь.

Н. Гуревич.

Из записной книжки легко-
мысленного рабфаковца. ≡≡≡



1 января 1923 года.

Только вчера я убедился в том, что Гришка, мой сожитель по комнате, большущий эстет. Еще-бы: за 20 минут он приделал меня в свои узкие брюки и куртку защитного цвета без пуговиц (за исключением одной, которая сиротливо торчала на месте бывшего когда-то сзади клапана), нацепил спереди на потертое место воротника черный галстук и ткнув, мое лицо в осколок зеркала, радостно воскликнул:

— „А вид у тебя сегодня, дружище, солидный!..“

Я подпрыгнул на одной ноге, поклонился почти раздетому товарищу и захлопнул двери.

Касса Взаимопомощи—дело хорошее, вечер был не хуже. С соседкой разговорился. Живет всегда в Харькове, стройная, одета хорошо. (То-же галстук, да другой).

— „Знаете, заявил я“,—удивляюсь, как живете вы всегда в городе?.. Как можно не знать деревенской жизни: жизни полной здоровья и красоты... Учиться надо в большом городе, а работать только в деревне. Кроме того, воспитательная работа там самая интересная. Что стоит видеть, как малые детишки легко поддаются воспитанию и как их индивидуальность постепенно выкристаллизовывается. А взрослый крестьянин: газета его необходимая принадлежность сейчас“.

— „Видите ли, я близорука, кроме того, у меня сильнейшее малокровие и на солнце страшно кружится голова.

Это первое. Второе,—в деревне—туберкулез, сифилис, пьянство. При моем организме... Ах, простите, я забыла, что вы не медик!..

— „Неужели у Вас совершенно нет чувства“ долга по отношению к тем людям, на труд которых вы все время занимались?“..

— „Позвольте, что такое чувство долга?.. Такого чувства и не должно быть. Есть чувство голода, жажды, боли, а чувства долга в физиологии нет. Нигде нет—ни в спинном, ни в головном...“

Ну, и медичка!..

Р. С. Забыл добавить. Сегодня моя очередь Гришуку рядить. Побегу ему шнурки для ботинок достану. Вот сюрприз-то!..

4 января 1923 года.

Вышел прогуляться после целого дня работы и свернул на Пушкинскую к товарищу. Иду и тихонько мурлыкаю. „Смело, товарищи, в ногу“..., а целых две ноги вторят посвистом внутри дранных ботинок. Иду и думаю: цены на все падают, а только семечки в одной цене-то. стакан сто тысяч. Дешево, а духовно и физически „облагораживает“...

— „Коллега!“—слышу (на мне фуражка студенческая: с Гришкой на готовальню, пару пуговиц и номер „Коминтерна“ поменялся),—„где здесь госпиталь, не знаете?... Я у вас спрашиваю потому, что вижу—медик. По носу вижу“...

Улыбнулась. Я повернулся, провел рукою по лицу, удостоверился, что носемного подгулял, медицинский, стало быть...

Курсистка тем временем рылась в замасленном портфеле и рассказывала:

— „Забыла адрес; вот несчастье!.. Натаскаться не успею. Ах, постойте, вспомнила!..“

— „Дело такое“, — уже на ходу рассказывала она, — „адреса быстро вылетают из головы, а нервную систему помню чудесно. Так вот, я выписываю все 12 пар нервов и для каждого адреса подчеркиваю соответствующие. Сейчас подчеркнута восьмая и первая пара, значит № 81...“

Вот тебе еще одна медичка...

Р. С. — Забыл добавить: сегодня я себе обдал киятком левую руку. Волдырей стало столько, сколько врагов у капитала.

Много интересного нашла я в записной книжке своего товарища. Всего не напишешь сразу. А о медичках — тем более, ибо (я вам открою секрет) я сама — медичка.

П. Суслин.

На новом фронте.

(Рассказ).



ткомандированный из армии в высшую школу, Леонид Жилин прибыл в столицу.

Не хотелось ему уходить из своей части, где он был военкомом: свyksя, сжилсЯ он с красноармейской массой, да и с командным составом был в душу. Все для него было родным в полку. „Не охота мне покидать вас — братцы“, говорил он, прощаясь. — „Всюду мы были вместе: ходили и на Деникина и на Врангеля, и на Колчака, знают нас и белополяки. Радость и горе — все было общим“.

— „Мы не забудем тебя, товарищ военком“, — сказал в ответном слове красноармеец: „иди, учись: теперь там фронт, здесь пока затишье. Иди, набирайся знаний, а будешь нужен, — позовем.“

Растрогался Жилин. Давно уж не плакал он, а здесь не утерпел и по его смуглому лицу прокатились две крупные слезы, прокатились и остановились на середине щек, как-бы раздумывая, куда упасть.

Военком ничего не ответил красноармейцу, ибо не мог говорить от волнения, а крепко пожал ему руку.

И поняли красноармейцы, что хотя и уходит от них их любимец военком, но душою он навсегда останется с ними. Разве не вместе творили чудеса. Разве не вместе подолгу голодали, или без патронов дрались?

Не даром плачет.

Особенно памятно Жилину напутственное слово вестового Костромина: „Ты же, Леонид Петрович, не забывай нас, когда студентом будешь, не то сердиться будем. Там, в столице, могут проглотить тебя, остерегайся, а с нами-то связи не теряй. Простые мы, малограмотные, но душа у нас есть, и сердце сохранилось“...

Хорошо помнит Жилин эту трогательную картину и часто думает о добродушном Костромине, о взводном Силантиче, что у белополяков пулемет стащил; многих вспоминает он, перебирая в голове наиболее яркие моменты из армейской жизни.

Да, это было всего лишь несколько дней тому назад, а теперь, вот, он в столице. А какая колоссальная разница в обстановке.

Неприветливо встретила столица Жилина: не было у него ни квартиры, ни денег. И воздух здесь какой-то неприятный... Спекулятивный, как выражался Жилин.

Долго блуждал он по улицам, справляя свои дела и по военной и по партийной линии; наконец, решил разыскать институт, но ноги его до того устали, что с трудом передви-

гались. Дальше идти он не мог, поэтому решил усесться на скамейке у парадного подъезда одного высокого дома.

Вот оно, думал он, усевшись—на фронте приходилось 60 верстные переходы в сутки делать и то так не уставал, как здесь.

Жалобно зазвенела шпора на его вытянутой ноге, как-бы подтверждая его мысли. Шпоры, вероятно, тоже устали—думал Жилин—и звон поэтому не бодрый, как всегда, а жалобный.

Что-то теперь товарищи в полку делают.

Иваненко, вероятно, в студии с красноармейцами занимается, Кошкарёв муштрует полк, Лазарев на конференции или Собрании выступает, Семенов за книгой сидит, а Костромин, конечно в газету пишет. Вот уж кто действительно до упаду военкорствует. Многих в мозгу его перебрала блуждающая мысль. Не забыл он и „Илью Муромца“—богатыря советского.

Есть и такой в полку.

Удивительно храбрый парень этот Муромец, а силища какая.

Часто рассказывает он, как на неприятельский бронепоезд с товарищами шел. А кто может поверить, что горсточка людей, с винтовками в руках, даже без пулемета на бронепоезд в наступление пошла. Не верят ему и в полку недавно прибывшие новобранцы. Выдумка...

Смеются, а заметят красный орден на груди—сразу стихнут, и Муромцем зовут. Быстро привык к этой кличке красноармеец. Никто не знает его имени в полку, да и сам он, пожалуй, забыл, и когда пишет знакомым, то „Ильей“ подписывается, и не поймут знакомые как это Степан в „Илью“ превратился. В Коммунию записался, вот и перекрестили, решили многие“..

Да, это „Коммуния“ создала богатыря.

Вот и полковой Муромец—продолжал думать Жилин—напиши о нем рассказ, нарисуй его портрет—не с‘умеешь, а если бы и с‘умел, то никто не поверит, что нарисован с натуры, да и сам Муромец сомневаться будет, таков ли он.

Бьет он своим лыковым лаптем Европу по золотому лицу, дикий страх нагоняет, и не знает, что он герой. А скажи ему это, улыбнется, смутится и не поверит.

Эх, хорошо в полку...

Властно потянуло Жилина в полк, к товарищам, опять захотелось ему творить историю полка, но вспомнились слова красноармейца: „теперь там фронт“, и он быстро встал, чтобы продолжать свой путь в Институт.

Да, он прав,—теперь здесь фронт—думал Жилин—а нависнут тучи над республикой,—будем снарядами разгонять.

Жизнь Леонида в институте сначала проходила тоскливо. Все ему было незнакомо, чуждо и даже, как ему казалось, враждебно. Студенческая масса была самая разношерстная. Были тут люди и из богатых, революцией обиженных семей, были и нэпманы, были и представители новых господствующих групп. Одни были жирные, выхоленные, богато одетые, „коллеги“, другие тощие, желтые, как старые фигуры из воска—„товарищи“.

Не мало появилось в Институте и „Буденовок“, свято-татственно нарушавших мирную, научную обстановку.

К удивлению Леонида в Институте оказалось не мало коммунистов.

В первые дни ячейка ему не понравилась. Институтские коммунисты оказались не такими, как в армии: среди них чувствовалось как бы формальное казенное отношение.

Но все это только в начале и издали. В действительности же оказалось, как потом узнал Жилин, что и институтские коммунисты такие-же, как везде, как и на фронте.

Скоро Жилин в ячейке стал своим человеком: все его знают и всех он знает. Нашлись и новые товарищи...

Теперь Леонид совсем хорошо себя почувствовал в столице. Одно плохо: квартиры нет... приютил один товарищ из ячейки, да больно плохо у него... спать приходится на столе, а стол-то вдвое короче его... ноги всегда висят в воздухе... да и комната маловата.

Но так продолжалось не долго.

Однажды встретил он в Институте свою старую знакомую Женю Лутовинову, с которой вот уже 2 года не видался.

Сразу нашлась и квартира и пища.

Хороший человек эта Женя.—вспоминает Леонид.

Это было в 17-м году...

Его командировали из губернии в N, для организации Советов. Там-то он и встретился с нею... митинг был тогда.

Женя очень внимательно слушала выступавшего Леонида..

— „Чужд мне твой порыв, твой взгляд, устремленный в завтра, но понять не могу почему почувствовала твою правоту“—говорила она, когда они сблизились. Женя оказалась умной девушкой с большими запросами и богатой натурой.

Часто беседовал с нею Леонид, говорили они о советской власти, о коммунистической партии, о поэзии, музыке, Читали вместе Маркса, Бебеля, Плеханова, Ленина. Женя всем интересовалась, все любила и, главное, легко воспринимала. Часто рассказывала она Леониду о себе. Тот в свою очередь открывал перед нею свою душу. „Понимаешь—Женя,—говорил он ей однажды—не мало я истребил людей, а мухи, поди, не сумею убить. Десятки контр-революционеров могу за один день уничтожить, а поехал когда-то к знакомым, увидел, когда хозяйка утку резала,—упросил не делать этого.—Слезы выступили на глазах... понимаешь, не мог: ведь тоже жить хочет и вреда не приносит.....“

Да, милая это девушка Женя... Глубоко задумался Леонид. Думал он о Жене, о своем детстве в дикой заброшенной деревушке, о матери, которая была убита тем, что Леонид „антихристом“ стал, в церковь не ходит... Эх, мать,—вздыхнул Жилин,—правды ты не узнаешь, света не видишь... Мысли Жилина прерваны были пришедшей Лутовиновой.—„Ну-с, тов. военком, а где же чай твой?—задорно спросила, ну, конечно, поленился приготовить. А еще студент...“—„Да понимаешь, Женичка, примус оказался непослушным, я это, значит, пристал к нему,—шутил Жилин,—от души прошу его: вскипяти, дескать, Жене чашку, а он, мерзопакостный, говорит:—пусть сама придет—я с нею побеседую лично.....“

Смеялись долго, говорили; затем—в Институт. Сегодня Жилин первый раз на лекции, хотя в Институте пребывает уже неделю. С большим трепетом ожидал он, когда раскроется рот профессора, этот родник знаний. Лекция на тему о Государстве. Аудитория представляла собою жужжащий пчелиный улей: насколько разнообразна была публика, настолько и разнохарактерны были разговоры в аудитории. Один говорил о Шуберте и Шопене, другие о смычке города с деревней, третьи жаловались на постановку дела в Институте, четвертые—об изяществе и нарядах. Леонид заинтересовался одним студентом с подвижным лицом, с горячностью спорившим с другим студентом о философе Юме.

Подвижное лицо нападало и доказывало, что Юм не особенно далек от Платоновского идеализма, и что ему странно видеть в новой школе студента с таким допотопным мирозерцанием, которое современной наукой опровергнуто и осмеяно. Леонид был весьма заинтересован их спором... Сначала он слушал, молча улыбался, потом решил вмешаться, но говор в аудитории моментально стих. В двери показался медленно ступавший профессор. Войдя в аудиторию,

он направился прямо к кафедре, достал из футляра очки и, протерев их, надел. На лице его отразилось полнейшее безразличие ко всему. Он казался неживым, никого невидящим.

Перебирая в руке какие-то клочки бумаги, он начал замогильным голосом чтение лекции. Слова его,—ровные и похожие одно на другое, вырывались из старческих уст, не улетая далеко, падали как дождевые капли тут-же у кафедры. Казалось, ему абсолютно никакого дела нет до аудитории. Аудитория сама по себе, а он сам по себе..... Получилось впечатление, что говорит Эдиссоновский механический человек... Профессора ни в какой мере не заботила мысль, слушаются-ли его, кто слушает и как слушает.

Леонид, приблизившись к кафедре, старался не проронить ни одного слова... И каково было его удивление, когда профессор развивал надклассовую теорию. Как? Государство надклассовое! Не может быть; это я ослышался,—думал он—но профессор все дальше и дальше продолжал свою мысль. Леонид был страшно удивлен.

„Позвольте,—говорил он после лекции секретарю ячейки,—нельзя же в самом деле в социалист. республике такой чепухой головы наши пичкать... Мы приехали за совершенными знаниями, а не выслушивать гаданья на кофейной гуще!!

— Погодите, тов. Жилин,—вы еще не это услышите,—говорил ему секретарь,—но горячиться не нужно: этим делу не поможешь“..—Но что за допотопная профессура?—не понимал Жилин...—„А разве у нас другая профессура есть?—возражал секретарь,—все это люди средневековья, без орла и царя батюшки дышать не могут“...

„Так чему-же они нас научат, чорт возьми“,—кипятился Леонид.

„Чему?—Горько усмехнулся секретарь,—известно: теологии, телеологии, идеализму и прочему, чем сами начинены.

Вам - то ничего... продолжал секретарь.—Вы человек грамотный, а каково тем, которые не могут противостоять бредням профессуры...—ведь они все за чистую монету принимают.“ — „Да неужели-же, чорт возьми,—ругался Жилин,—мы, угрожающие старому миру, со всей его культурой, неужели мы, вздернувшие на дыбы современное бытие, разбившие столько врагов,—неужели, говорю, не завоевали мы у себя школы?“.. „Мы ее завоюем лет через 7—8, когда у нас своя профессура будет“... Секретарь поднял свою руку и, проводя ею по лбу, как бы отгонял от себя неприятные мысли... „Учитесь вот, т. Жилин,—постигайте науку... а потом... работы много, добавил он... Все недочеты в школе нам хорошо известны, и партия их знает... да сейчас, сразу всего не сделаешь, на это требуется время“.

Вскоре Леониду пришлось самому убедиться, какую работу продельывает ячейка, т.-к. после разговора с секретарем, оно его немедленно же нагрузило работой.

А кому неизвестна эта нагрузка...

Стоит только попасть в ВУЗ'овскую ячейку активному новичку,—будет он знать, как это коммунисты в институтах учатся...

Сегодня два заседания, завтра три, после завтра два доклада и четыре содоклада... а там различные комиссии, подкомиссии, бюро, студкомы, курскомы, старостаты и пр., им же несть конца... Найдется работа и утром и вечером. Так случилось и с Леонидом Жилиным: придет это он поздней ночью домой, усталый, разбитый, напьется на скорую руку чаю, да за книжку...

Читает, а в голове: „доклад ректора, бюро института, реорганизация факультета, Генуэзская конференция, болезнь Ленина, вооружение Польши, зачет по политэкономии и проч.“ Одна мысль сменяет другую.

Хорошо еще—примус спасает... Придешь—минута, две, и чай готов. Я нахожу, что примус самый лучший друг студента,— часто шутит Леонид... Кормилец и „поилец“.

— Интересный ты у меня жилец,—говорила ему Женя—и видишь тебя всего лишь несколько часов в сутки...—„А тебе скучно?—задал он вопрос,—ну, ничего, завтра я дома и днем буду заниматься“.

Но день проходил за днем, а работы у Леонида не уменьшалось...—„Взялись перестроить школу, нужно кончать... и кончим,—заявил он уверенно.—Нет ничего, перед чем остановились бы мы... Не раз удивляли мир, удивим и еще“.

„Тяжелую больно работу взвалила на вас история“,—согласилась Женя, и тут-же добавила с опасением: „выдержите-ли“.

— Выдержим, уверенно звучало в устах Жилина,—не даром смеяться разучились... Все перестроим...

И верила Женя, что перестроят... Разве есть пределы их настойчивости, энергии?...